Предки птичницы Греты

Птичница Грета была единственной представительницей рода человеческого в новом, красивом домике, выстроенном при усадьбе для кур и уток. Стоял он как раз на том же самом месте, где прежде возвышался старинный барский дом с башнями, кровлей «щипцом» и рвом, через который был перекинут подъемный мост. В нескольких шагах от домика начиналась дикая чаща кустов и деревьев; прежде тут был сад, спускавшийся к большому озеру, которое теперь стало болотом. Над высокими старыми деревьями кружились и кричали грачи, вороны, галки — несметные стаи. Число их не убавлялось, сколько их ни стреляли, скорее, прибавлялось. Крики их слышны были даже в птичнике, где сидела Грета, любуясь утятками, то и дело переползавшими через ее ноги, обутые в деревянные башмаки. Старушка знала наперечет всех своих кур и уток и блюла их с той самой минуты, как они вылуплялись из яичек. Она гордилась ими, гордилась и великолепным домиком, построенным для них. В маленькой комнатке ее царствовал такой порядок, такая чистота — этого требовала сама госпожа, владетельница птичника. Она часто приводила сюда своих знатных гостей «полюбоваться утиными и куриными казармами», как она выражалась.

В комнатке Греты был и платяной шкаф, и кресло, и даже комод, а на нем красовалась блестящая, полированная медная дощечка с вырезанной надписью: «Груббе». Так именно прозывался древний дворянский род, владевший когда-то старой, исчезнувшей, усадьбой. Дощечку эту нашли в земле, когда клали фундамент для нового дома, но, по словам пономаря, она имела цену только как памятник старины, не более. Пономарь был вообще очень сведущ, сведения же свои почерпал из книг да из старинных рукописей — их у него в ящиках лежало множество. Да, много знал он о старине, но старейшая из ворон знала, пожалуй, побольше его. Она и не таила этого, выкрикивала свои знания во всеуслышание, но по-своему, по-вороньи, а по-вороньи-то пономарь, несмотря на всю свою ученость, не понимал.

Вечерами, после теплых летних дней, над болотом подымался густой туман, и вся местность казалась издали большим озером, доходившим вплоть до старых деревьев, над которыми летали грачи, вороны и галки. Такое-то вот озеро и расстилалось здесь в старину, когда еще жив был господин Груббе, владелец старого барского дома с красными кирпичными стенами. Дворовая собака ходила на такой длинной цепи, что могла бегать даже за воротами, а башня была соединена с жилыми покоями бесконечно длинной кирпичной галереей.

Окошечки в доме были маленькие, узенькие даже в главной зале, где происходили танцы. Впрочем, при последнем владельце в доме уж не танцевали, хотя в зале все еще хранился старинный барабан, игравший когда-то роль в оркестре. Тут же стоял шкаф, весь покрытый искусной резьбой; в нем хранились редкие цветочные луковицы — госпожа Груббе занималась садоводством. Супруг же ее предпочитал стрелять волков да кабанов, а за ним всюду следовала и маленькая дочка его Мария. Лет пяти от роду она уже преважно сидела на коне и смело посматривала кругом своими большими черными глазами. Ее очень забавляло щелкать бичом над головами охотничьих собак, отец же предпочитал, чтобы она щелкала им по спинам крестьянских мальчишек, которые сбегались глазеть на господ.

Возле самой усадьбы стояла землянка одного крестьянина. У него был сын Серен, одних лет с дочерью господина. Серен мастер был карабкаться по деревьям, и барышня постоянно заставляла его доставать ей птичьи гнезда. Птицы вопили что было мочи, а одна из самых больших взяла раз да и клюнула мальчишку прямо в бровь. Кровь полилась ручьем, думали, что с нею вытечет и глаз, но нет, он уцелел. Мария Груббе звала мальчика «мой Серен» — это было знаком большого благоволенья, и оно таки пригодилось однажды самому отцу мальчика, бедняку Иону. Он как-то раз провинился, и его посадили верхом на кобылку, т. е. на узкую острую дощечку, укрепленную на четырех деревянных подпорках, а к ногам привязали тяжелые камни, чтобы ему не сиделось чересчур удобно. Бедняк корчил страдальческие гримасы, Серен ревел и просил заступничества Марии. Она сейчас же велела спустить крестьянина с кобылки, но ее не послушались. Тогда она затопала ногами по каменной мостовой двора и так рванула своего отца за рукав, что рукав треснул. Уж она умела поставить на своем! Пришлось уступить ей и освободить отца Серена.

Госпожа Груббе, которая в это время вышла на двор, погладила дочку по головке и ласково поглядела на нее, но Мария не поняла причины.

Ее больше тянуло к охотничьим собакам, чем к матери, и мать одна отправилась в сад, к озеру, поросшему тростником, кувшинками и другими красивыми болотными цветами и растениями. Госпожа Груббе залюбовалась этой мирной картиной. «Как хорошо здесь!» — шептали ее губы. В саду росло, между прочим, одно, в те времена очень редкое, дерево, которое она сама посадила, — красный бук. Оно было своего рода мавром среди других деревьев: такие темно-коричневые на нем росли листья. Дереву нужен был яркий солнечный свет: в тени оно стало бы зеленым, как и все прочие деревья, и лишилось бы своей достопримечательности. В ветвях высоких каштанов

было пропасть гнезд, в кустах и в траве тоже. Птицы как будто знали, что они тут в безопасности, что здесь никто не смеет палить в них из ружей.

Но вот явилась маленькая Мария с Сереном, а он ведь, как мы знаем, умел лазить на деревья за птичьими яйцами и покрытыми пушком птенчиками. Птицы — и большие, и малые — в ужасе подняли крик, принялись летать и хлопать крыльями! Из травы взлетали пигалицы, с деревьев — грачи, вороны и галки, и все это каркало, кричало, вопило, как вопят эти породы и поныне.

— Что это вы делаете, дети? — вскричала кроткая госпожа Груббе. — Ведь это безбожно!

Серен переконфузился, высокородная барышня тоже отвернула было личико в сторону, но потом отрывисто выпалила:

— Отец позволяет!

— Прочь! Убраться, убраться отсюда! — кричали большие черные птицы, улетая.

Но на другой же день они вернулись опять — тут ведь они были у себя дома.

А вот тихая, кроткая госпожа Груббе так недолго оставалась тут: Господь Бог отозвал ее к Себе — она больше была у себя дома на небе, нежели в барской усадьбе. Тело вынесли в церковь под торжественный звон колоколов, бедняки роняли слезы — она была добра к ним.

После нее некому было заботиться о ее растениях, и сад заглох.

Господин Груббе был, как говорили, человек жесткий, суровый, но дочь, несмотря на всю свою молодость, умела вертеть им по-своему; она смешила его и добивалась своего. Теперь ей минуло двенадцать лет, она была крепкого сложения, смело смотрела своими черными глазами в лицо людям, ездила верхом, как мужчина, и стреляла, как опытный охотник.

В окрестность прибыли знатные-презнатные гости: сам молодой король и его сводный брат и товарищ господин Ульрик-Фредерик Гюльденлеве. Они вздумали поохотиться на диких кабанов и хотели провести денек в усадьбе господина Груббе.

Гюльденлеве сидел за столом рядом с Марией, взял ее за подбородок и поцеловал, словно они были в родстве, но она закатила ему звонкую пощечину и сказала, что терпеть его не может. Он же, а за ним и все остальные принялись смеяться, словно она ему невесть какую приятную вещь сказала!

Да, должно быть, ее слова пришлись-таки ему по вкусу: пять лет спустя, когда Марии исполнилось семнадцать лет, на двор прискакал гонец с письмом, в котором господин Гюльденлеве просил руки благородной девицы. Вот как!

— Он знатнейший и любезнейший кавалер в королевстве! — сказал господин Груббе. — Такими женихами не брезгуют!

— Не очень-то он мне нравится! — ответила дочка, но все-таки не побрезговала знатнейшим человеком в королевстве, столь близко стоявшим к самому королю.

Приданое — серебро, меха и белье — было отправлено в Копенгаген на корабле, сама невеста отправилась туда сухим путем. Переезд этот занял десять дней, корабль же с приданым был задержан отчасти противными ветрами, отчасти безветрием, и прибыл на место лишь через четыре месяца, когда самой госпожи Гюльденлеве уж и след простыл.

— Лучше спать на соломе, чем на его шелковой постели! — сказала она. — Лучше буду ходить босиком, чем разъезжать с ним в карете!

И вот поздним ноябрьским вечером в Оргус приехали две женщины: супруга Гюльденлеве — Мария Груббе и ее служанка. Они прибыли туда из Вейле, куда приплыли на корабле из Копенгагена. Скоро они въехали и в обнесенный каменной оградой двор замка господина Груббе. Неласково встретил отец дочку, но все же отвел ей комнату. Мария поселилась в ней, получала по утрам хлеб с маслом, но нельзя сказать, чтобы все остальное в ее жизни шло как по маслу. Крутой нрав отца отзывался теперь и на ней, а она к этому не привыкла, к тому же сама была не из мягких натур и за словом в карман не лазила: как аукнется, мол, так и откликнется! О своем супруге она отзывалась со злобой и ненавистью и говорила, что ни за что не сойдется с ним больше — слишком она честна и чиста душою и телом!

Так прошел год, и нельзя сказать, чтобы приятно. Отец и дочь обменивались недобрыми словами, а это не годится: недоброе слово и плод приносит недобрый.

Бог знает чем бы все это кончилось!

— Нет, нам с тобой не ужиться под одной кровлей! — сказал, наконец, старик. — Уезжай отсюда в нашу старую усадьбу да держи лучше свой язык на привязи, чем давать ход сплетням!

Отец с дочерью расстались; она переехала со своей служанкой в старую усадьбу, где родилась и выросла, где жила и умерла ее кроткая, благочестивая

мать, обретшая покой в склепе старой усадебной церкви. В усадьбе жил только старый пастух — вот и вся дворня. В комнатах висела паутина, покрытая черным слоем пыли, сад совсем заглох; между деревьями и кустами повисли густые сети хмеля и вьюнка; белена и крапива разрослись на славу. Красный бук рос теперь в тени, и листья его приняли обыкновенную зеленую окраску — миновала его краса! Но над высокими каштанами по-прежнему летали бесчисленные стаи грачей, ворон и галок. Они кричали и вопили, словно передавая друг другу великую новость: «Опять приехала сюда та девчонка, что приказывала таскать у нас яйца и птенцов! Сам же воришка карабкается теперь по дереву без сучьев и листьев, взбирается на высокие мачты и частенько получает здоровые трепки, коли ведет себя не так, как надо».

Обо всем этом рассказывал нам пономарь; он добыл все эти сведения из разных книг и записок — у него их был полный шкаф.

— На этом свете все идет то в гору, то под гору! — говаривал он. — Диковинно послушать!

Послушаем и мы о том, что сталось с Марией Грубе, но не забудем при этом и о птичнице Грете, что сидит в своем великолепном птичнике в наше время, как Мария сидела в усадьбе в свое, только не то у нее было на душе, что у птичницы Греты!

Прошла зима, прошли весна и лето, опять завыли осенние ветры, потянулись с моря сырые, холодные морские туманы. Скучно, одиноко жилось в усадьбе.

И вот Мария Грубе взялась за свое ружье, стала ходить в степь стрелять зайцев да лисиц, а то и птиц, если попадались. В поле она частенько встречала благородного господина Палле Дюре из Нерребэка. Он тоже разгуливал там с ружьем да собаками. Дородный он был, сильный мужчина и всегда хвастался этим в беседах с Марией. Он мог даже помериться силою с покойным господином Броккенгусом из Эгескова, что на Фионии, о силе которого и до сих пор ходили рассказы. По его-то примеру и Палле Дюре повесил у себя в воротах железную цепь с охотничьим рожком и, возвращаясь домой, схватывался за эту цепь, приподымался на воздух вместе с лошадью и трубил в рог.

— Приезжайте сами посмотреть на это, сударыня! — говорил он. — У нас в Нерребэке можно подышать свежим воздухом!

Когда именно она приехала к нему, из старинных записей не видно, но на подсвечниках в Нерребэкской церкви можно прочесть, что они принесены

церкви в дар господином Палле Дюре и Марией Груббе, владельцами Нерребэка.

Делом и силой Палле Дюре похвастаться мог, вино он всасывал в себя, как губка, как бездонная бочка, а храпел, как целое стадо свиней. Красный он был, разбухший!

— Ехидный, да и задира вдобавок! — говорила про него госпожа Палле Дюре, урожденная Груббе.

Скоро ей наскучило вести такую жизнь, но жизнь-то от этого лучше не становилась.

И вот в один прекрасный день стол был накрыт, и кушанья остыли: Палле Дюре охотился за лисицами, а госпожу нигде не могли отыскать. Палле Дюре вернулся домой около полуночи, а госпожа Дюре не вернулась ни ночью, ни на другой день утром. Она покинула Нерребэк, ушла, не простившись ни с кем.

Погода стояла сырая, серая, дул холодный ветер, над головой Марии с криком вились стаи черных птиц — они-то не были такими бездомными беглянками, как она.

Мария сначала направилась к югу, в Германию; тут золотые перстни с драгоценными камнями были обращены в деньги; потом она направилась на восток, потом опять повернула на запад — у нее не было перед собой никакой цели, она сердилась на всех и на все, даже на Бога: так ожесточена была ее душа. Но вот силы начали изменять ей, она едва передвигала ноги от усталости, наконец, запнулась о кочку и упала. С кочки взлетела пигалица и пискнула: «Чув-чув! Ах ты воровка!» Мария никогда не посягала на добро ближнего, но птичьи яйца и птенцов приказывала красть для себя, когда была маленькая. Теперь она припомнила это.

С того места, где она лежала, видны были береговые дюны; там жили рыбаки, но она не могла добраться до них — так она была слаба. Большие белые чайки пролетали над нею и кричали так же пронзительно, как кричали, бывало, грачи, вороны и галки в усадьбе; птицы подлетали к Марии все ближе и ближе, под конец из белых стали черными, как уголь, да и все потемнело в ее глазах…

Когда она опять открыла их, то увидела, что ее подняли и несут на руках. Нес ее высокий, сильный малый. Она взглянула в его бородатое лицо — над глазом у него был глубокий шрам, бровь как будто была перерезана пополам. Он отнес несчастную женщину на судно, где служил матросом, а шкипер

разругал его за это на чем свет стоит. На другой день корабль отплыл. Марию Груббе не высадили — значит, и она тоже отправилась в плавание. Но она, конечно, вернулась обратно? Да, только когда и куда?

И об этом пономарь мог рассказать; при этом он ровно ничего не выдумывал от себя, а почерпал все свои сведения из достоверного источника — из одной старой книги, которую мы и сами можем взять да прочесть. Написал ее датский историк Людвиг Гольберг, автор многих прекрасных книг и забавных комедий, которые так живо рисуют нам его век и современников. В своих письмах Гольберг рассказывает о своей встрече с Марией Груббе. Об этом стоит послушать, но все же мы не забудем из-за этого птичницы Греты, что сидит теперь такая веселая и довольная в своем великолепном птичнике.

Остановились мы на том, что Мария Груббе отплыла на корабле.

Прошли годы…

В Копенгагене в 1711 году свирепствовала чума. Королева Дании отплыла на родину в Германию, король тоже покинул столицу, да и все, кто только мог, бежали из нее. Старались выбраться из города и студенты, даже те, что пользовались даровым помещением и столом. В так называемой Борхс-Коллегии оставался всего один студент, да и тот собирался уехать. Было два часа ночи, когда он вышел оттуда с ранцем на плечах; в нем больше было книг и рукописей, нежели платья и белья. Над городом навис густой тягучий туман, на улицах не было видно ни души. Кругом почти на всех дверях и воротах стояли кресты — в тех домах были больные чумой или все уже вымерли. Не было видно людей и в более широкой извилистой Kjodmangergade, как называлась тогда улица от Круглой башни до королевского дворца. Но вот мимо прокатила тяжелая телега. Кучер пощелкивал кнутом, лошади неслись вскачь; телега была битком набита трупами. Молодой студент поднес руку к носу и стал вдыхать крепкий спирт, в который была омочена губка, уложенная в медную коробочку. Из кабачка в одном из переулков раздавалось дикое пение и хохот. Люди пьянствовали там всю ночь, чтобы забыть о чуме, стоявшей за дверями и готовой уложить их в телегу к другим мертвецам. Студент направился к дворцовому мосту; у набережной стояла пара небольших судов; одно уже готовилось отплыть из зараженного города.

— Коли Бог даст, будем живы и дождемся попутного ветра, пойдем в Грензунд к Фальстеру! — сказал шкипер и спросил студента, желавшего сесть на судно, как его зовут.

— Людвиг Гольберг! — ответил тот, и имя это прозвучало тогда, как и всякое другое, теперь же оно принадлежит к славнейшим датским именам! А тогда-то он был простой, не известный никому бедный студент.

Судно проплыло мимо дворца, и еще не рассвело, как оно уже вышло в открытое море. Поднялся легкий ветерок, паруса надулись, молодой студент сел лицом против свежего ветра да и заснул; нельзя сказать, чтобы это было с его стороны особенно благоразумно!

Уже на третье утро судно встало на якорь у Фальстера.

— Не знаете ли вы, у кого бы мне найти здесь пристанище за небольшую плату? — спросил Гольберг у капитана.

— Думаю, что лучше всего вам обратиться к перевозчице! — ответил тот. — Коли хотите быть с нею полюбезнее, зовите ее матушкой Серен Серенсен Меллер! Но смотрите, не слишком-то уж любезничайте, не то она рассердится! Муж ее арестован за убийство, и она сама теперь правит перевозом — лапищи у нее здоровые!

Студент забрал свою котомку и пошел в домик перевозчицы. Дверь не была заперта; он приподнял щеколду и вошел в комнату, выстланную кирпичом. Главной мебелью была длинная скамья, покрытая большим кожаным одеялом. К скамье была привязана белая наседка с цыплятами; она опрокинула блюдечко с питьем, и вода разлилась по полу. Ни в этой, ни в соседней комнате не было ни души, кроме грудного ребенка в колыбельке. Но вот показалась лодка, отплывшая от противоположного берега; в ней кто-то сидел, но кто именно — мужчина или женщина — решить было мудрено: сидевший был закутан в широкий плащ с капюшоном, покрывавшим голову. Лодка пристала к берегу.

Из нее вышла и вошла в комнату женщина, еще очень видная собой, особенно когда выпрямляла спину. Из-под черных бровей гордо смотрели черные глаза. Это и была сама матушка Серен, перевозчица. Грачи, вороны и галки прокричали бы, впрочем, другое, более знакомое нам имя.

Сурово глядела она, скупа была на слова, но все же студенту удалось сговориться с нею насчет платы за стол и за помещение на то время, пока в Копенгагене будет обстоять неблагополучно.

В домик перевозчицы частенько заглядывали из ближайшего городка некоторые почтенные граждане, вроде Франца Ножевщика и Сиверта Обозревателя мешков (Действующие лица из комедии Гольберга «Медник-Политик». — Примеч. перев.). Они потягивали из кружек пивцо и

беседовали со студентом. Он был мастер своего дела, как выражались они: читал по-латыни и по-гречески, умел потолковать об ученых предметах.

— Чем меньше знаешь, тем легче живется! — заметила однажды матушка Серен.

— Да, вот вам-то не легко приходится! — сказал Гольберг, застав ее за стиркой белья в щелоке, причем ей самой приходилось раскалывать тяжелые плахи на подтопку.

— Ну, про то я одна знаю! — ответила она. — Что ж, вы с малых лет так колотитесь?

— Это видно по рукам: прочесть, чай, нетрудно! — сказала она, показывая ему свои, правда, маленькие, но огрубелые и сильные руки с обкусанными ногтями. — Вы ведь ученый!

Около Рождества начались сильные метели; мороз крепчал, ветер как будто промывал людям лица крепкой водкой. Но матушка Серен не боялась никакой погоды, завернувшись в свой плащ да надвинув капюшон на голову.

Было непоздно, но в комнатке уже совсем стемнело; хозяйка подложила в печку хвороста и вереска, сама уселась возле и принялась штопать свои чулки — другому некому было взяться за это дело. Под вечер она стала словоохотливее, чем это вообще было в ее привычках. Она заговорила о своем муже.

— Он нечаянно убил одного драгерского шкипера и должен за это три года пробыть на каторге. Что ж, он ведь простой матрос, так должно поступать с ним по закону!

— Поступают по закону и с лицами высшего сословия! — сказал Гольберг.

— Вы думаете? — сказала матушка Серен и поглядела в огонь, но затем начала снова. — А вы слышали о Кае Люкке? Он велел срыть одну из своих церквей, а когда священник Мас стал громить его за это с кафедры, приказал заковать духовного отца в цепи, созвал суд и сам приговорил его к казни. И священнику отрубили голову! Это уж не было нечаянным убийством, а Кая Люкке все-таки не тронули!

— Он действовал сообразно нравам своего времени! — сказал Гольберг. — Теперь эти времена миновали!

— Рассказывайте! — сказала матушка Серен, встала и пошла в другую каморку, где была девчурка, прибрала и уложила ее, потом приготовила на

скамье постель студенту. Кожаное одеяло было отдано ему — он был куда чувствительнее к холоду, чем она, даром что родился в Норвегии.

Утро в день Нового года было ясное, солнечное; мороз, однако, стоял такой, что нанесенный метелью снег превратился в твердую кору, и по нему можно было ходить как по полу. Колокола в городе зазвонили к обедне. Студент завернулся в свой шерстяной плащ и собрался пойти в город.

Над домиком перевозчицы с криком и карканьем летали грачи, вороны и галки; из-за их крика не слышно было даже колокольного звона. Матушка Серен стояла за порогом и набирала в котелок снегу, чтобы вскипятить воды. Она смотрела на стаи птиц и думала свою думушку.

Студент пошел в церковь; на пути туда и обратно ему пришлось проходить мимо дома Сиверта Обозревателя мешков. Когда студент проходил во второй раз, его зазвали выпить кружку теплого пива с сиропом и имбирем. Речь зашла о матушке Серен, но хозяин немного мог сообщить о ней — знал только, что она нездешняя, что у нее когда-то водились деньжонки и что муж ее, простой матрос, убил сгоряча одного драгерского шкипера. «Он бивал и жену, но она стоит за него горой!»

— Я бы такого обращения не потерпела! — сказала хозяйка. — Ну, да и то сказать, я лучшего происхождения! Мой отец ведь был королевским ткачом чулок!

— Да и замужем-то вы за королевским чиновником! — сказал Гольберг и откланялся хозяевам.

Вот подошел и вечер, а в вечер Нового года празднуется память трех восточных царей, пришедших на поклонение Младенцу Иисусу, и матушка Серен зажгла для Гольберга в честь трех царей особую, «тройную», сальную свечу собственного изделия.

— По одной свечке для каждого мужа! — сказал Гольберг.

— Для каждого мужа? — спросила женщина и пристально посмотрела на него.

— Ну да, для каждого из восточных мужей! — сказал студент.

— Ах, вы вот о чем! — сказала она и долго сидела молча.

Но все-таки в этот вечер студенту удалось выведать от нее кое-что.

— Вы любите своего мужа? — начал Гольберг. — А поговаривают, что он обходился с вами жестоко.

— Это никого не касается, кроме меня! — ответила она. — Такие побои принесли бы мне большую пользу в детстве, теперь же они достаются мне, вероятно, за мои грехи! О том же, сколько добра он мне сделал, знаю я одна! — И она выпрямилась. — Я валялась в степи больная, и никому не было дела до меня, кроме разве грачей да ворон, которые готовы были заклевать меня! А он взял меня на руки и отнес на судно, не побоялся головомойки шкипера за такой груз! Я не из хворых и скоро оправилась. Каждый живет по-своему, и Серен по-своему. Нельзя судить клячу по узде! С ним мне все-таки жилось куда лучше, нежели с любезнейшим и знатнейшим из всех подданных короля. Я ведь была замужем за наместником Гюльденлеве, сводным братом короля. Потом я вышла за Палле Дюре. Оба — одного поля ягоды! У каждого свой вкус, и у меня свой! Заболталась я, однако, с вами, ну да зато теперь вы знаете все!

И она ушла из комнаты.

Это была Мария Груббе! Вот как обернулось для нее колесо счастья! Немного еще новогодних вечеров довелось ей пережить. Гольберг пишет, что она умерла в июне 1716 года, но он не пишет о том — да он и не знал этого, — что, когда матушка Серен, как ее называли, лежала в гробу, над домом молча носились стаи больших черных птиц — они как будто знали, что там, где похороны, надо соблюдать тишину. После же того, как тело предали земле, черные птицы улетели, и никто больше не видел их в той местности. Зато в тот же вечер над старой усадьбой в Ютландии виднелись целые стаи грачей, ворон и галок, готовых перекричать друг друга. Они словно торопились поделиться вестью, что таскавший их яйца и покрытых пушком птенцов крестьянский мальчишка работает теперь в кандалах на каторге, а благородная девица окончила жизнь перевозчицей через Грензунд. «Кра! Кра! Бра! Бра! Браво!» — кричали птицы. То же кричали они, когда срывали старую усадьбу.

— Они и теперь кричат то же, а и кричать-то уж не о чем! — сказал пономарь. — Весь род Груббе вымер, усадьба срыта, и на месте ее стоит теперь нарядный птичник с вызолоченными флюгерами, а в нем сидит птичница Грета. Как она радуется своему прелестному жилищу! Не попади она сюда, ей ведь пришлось бы доживать век в богадельне!

Над нею ворковали голубки, вокруг клохтали индейки, крякали утки.

— Никто не знает ее! — толковали они. — Безродная она. Милость Божья, что она попала сюда. Нет у нее ни селезня-батюшки, ни курицы-матушки, ни деток!

Но она все-таки не была безродной; предки-то у нее были, только она не знала их. Не знал их и пономарь, сколько ни валялось у него в ящике стола рукописей; знала и рассказывала об этом лишь одна из старых ворон. Она еще от матери своей и бабушки слышала о матери и о бабушке Греты. Последнюю-то и мы знаем, знаем еще с тех пор, как она девочкой проезжала по подъемному мосту и гордо посматривала кругом, словно весь свет и все птичьи гнезда принадлежали ей одной. Видели мы ее потом в степи, около дюн, и, наконец, у перевоза через Грензунд.

Внучка ее, последняя в роде, опять попала туда, где стояла старая усадьба и где кричали черные дикие птицы, но она-то сидела в кругу ручных, домашних птиц. Они знали ее, и она знала их. Птичнице Грете нечего было больше желать, она бы рада была и умереть теперь — стара уж она стала.

«Гроб! Гроб!» — кричали вороны.

И птичницу Грету положили в гроб и схоронили, но где — никто не знает, кроме старой вороны, если только и та не околела.

Так вот, мы теперь узнали историю старой усадьбы и древнего рода, узнали и о предках птичницы Греты.